

С Е Р И Я
П О Л И Т И Ч Е С К А Я
Т Е О Р И Я

POLITICAL
REPRESENTATION

FRANKLIN ANKERSMIT

Stanford University Press

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ

ФРАНКЛИН АНКЕРСМИТ

Перевод с английского
АЛЕКСЕЯ ГЛУХОВА



*Издательский дом
Высшей школы экономики*
МОСКВА, 2012

УДК 141.7
ББК 87
А67

Составитель серии
ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ

Дизайн серии
ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ

Научный редактор
АЛЕКСАНДР МАРКОВ

Анкерсмит, Ф. Р.

А67 Политическая репрезентация [Текст] / пер. с англ. А. Глухова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. — 288 с. — (Политическая теория). — 1000 экз. — ISBN 978-5-7598-0826-8 (в пер.).

В своей амбициозной работе голландский историк Франклин Анкерсмит предлагает вернуть историческое измерение в политическую теорию. Современная политическая философия — либерализм, коммунитаризм и республиканство — пренебрегает историей, считая, что она не имеет отношения к природе политики и сути политических проблем. Автор утверждает, что такой взгляд сводит политику и политическую философию к пустой академической игре, упускающей из виду как суть, так и практику политики. Он утверждает, что между историей и политикой существует неразрывная связь, которая лучше всего выражается в понятии репрезентации. Поскольку история репрезентирует прошлое, а суть демократической политики состоит в политическом представительстве или репрезентации, автор полагает, что репрезентация является общим основанием истории и политики.

УДК 141.7
ББК 87

POLITICAL REPRESENTATION by Frank Ankersmit was originally published in English by Stanford University Press. This translation is published in agreement with Stanford University Press, www.sup.org

ISBN 978-5-7598-0826-8 (рус.)
ISBN 9780804739818 (англ.)

© 2002 by the Board of Trustees
of the Leland Stanford Junior University
All rights reserved.

© Перевод на рус. яз., оформление.
Издательский дом Высшей школы
экономики, 2012

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| БЛАГОДАРНОСТИ | 7 |
| ВВЕДЕНИЕ | 8 |
| ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. | |
| ИСТОРИЯ И ПОЛИТИКА | |
| I. ИСТОРИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | 23 |
| II. ЭДМУНД БЕРК: ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО И ИСТОРИЯ .. | 48 |
| III. ФРЕЙД КАК ПОСЛЕДНИЙ ТЕОРЕТИК ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА | 83 |
| ЧАСТЬ ВТОРАЯ. | |
| ДЕМОКРАТИЯ И ИСТОРИЯ | |
| IV. О ПРОИСХОЖДЕНИИ, ПРИРОДЕ И БУДУЩЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ | 119 |
| V. ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ: ШУМАН И ШИЛЛЕР | 166 |
| ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. | |
| ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | |
| VI. ДЕМОКРАТИЯ КАК АНТИФУНДАМЕНТАЛИЗМ | 201 |
| VII. СЕТЬ, ЭКСПЕРТ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ | 222 |
| VIII. КОМПРОМИСС И ПОЛИТИЧЕСКАЯ КРЕАТИВНОСТЬ | 238 |
| IX. ПРИЗНАНИЕ | 263 |
| ЭПИЛОГ | 285 |

ВВЕДЕНИЕ

В этой книге речь идет об отношениях между историей и политикой. История этих отношений столь же продолжительна и многообразна, как и сама политика и история. Лишь только появляются исторические сочинения, лишь только политика получает признание, автономная область человеческой деятельности, природа их отношений становится предметом интеллектуальной спекуляции. Первая веха — рассуждение Фукидида о цели своего сочинения, посвященного войне между Афинами и Спартой:

Быть может, изложение мое, чуждое басен, покажется менее приятным для слуха; зато его сочтут достаточно полезным все те, которые пожелают иметь ясное представление о минувшем и могущем, по свойству человеческой природы, повториться когда-либо в будущем в том же самом и подобном виде. Мой труд рассчитан не столько на то, чтобы послужить предметом словесного состязания в данный момент, сколько на то, чтобы быть достоянием навеки¹.

Бесчисленное множество авторов — Полибий, Тацит, Макиавелли и другие, в том числе современные, — последовали примеру Фукидида в понимании исторического сочинения. Отсюда известный топос Цицерона: *historia magistra vitae*². Этот топос — или, по словам Макиавелли, «соображение», что «тот, кто со всем тщанием вникает в прошедшее, тот с легкостью угадает будущее всякой республики»³, — кажется тем более убедительным.

¹ *Thucydides. History of the Peloponnesian War // Finley M.I. The Portable Greek Historians. Harmondsworth, Engl. 1959. P. 231.* (Рус. пер.: Фукидид. История, I 22, 4 / пер. Ф.Г. Мищенко, С.А. Жебелева. — *Здесь и далее ссылки на русский перевод — в скобках — указаны переводчиком.*)

² История — учительница жизни (лат.). (См.: Цицерон. Об ораторе, II, 9 / пер. Ф.А. Петровского. — *Примеч. пер.*) Об истории этого топоса см. классическую работу Р. Козеллека: *Koselleck R. Historia Magistra Vitae: Über die Auflösung des Topos im Horizont neuzeitlich bewegter Geschichte // Koselleck R. Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zeit. Frankfurt am Mein, 1979. S. 38–67.*

³ *Machiavelli N. Discourses on Livy / transl. by H.C. Mansfield, N. Tarcov. Chicago, 1996. S. 85.* (Рус. пер.: *Макьявелли Н. Рассуждение о первой декаде Тита Ливия, I 39 / пер. М.А. Юсима. М.: АСТ, 2004. С. 220; перевод несколько изменен.*)

тельным, что большинство исторических сочинений являются (или по крайней мере до последнего времени были) историей политической жизни прошлого. От дисциплины, имеющей своей главной темой политику, естественно ожидать прояснения природы политики, однако сходный аргумент применим и для истории искусства. Достаточно вспомнить «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550), созданные Вазари для пропаганды флорентийского искусства, чтобы увидеть, как история *x* влияет, причем нередко по воле автора, на последующую практику *x*. Тот же подход наблюдается и в философии: наиболее влиятельные ревизии истории философии вдохновляются актуальными тенденциями философской мысли; и наоборот, каждая новая философская система находит себе оправдание отчасти в том, чтобы предложить новое толкование истории философии. Но связь истории с политикой даже более тесная, чем с искусством или философией. История и политика не только имеют общий предмет, у них есть и значительное сходство в том, как историк или политик стремится объяснить мир. Два момента этого сходства требуют от нас пристального внимания.

Во-первых, политическое действие по своей природе исключает: поступить так автоматически — значит не поступить иначе. Иными словами, с одной стороны, имеется хаотичный контекст, на фоне которого совершается политическое действие, а с другой — конкретное политическое действие, считающееся в итоге самым уместным. Следовательно, при переходе от хаотичной множественности к определенному действию на каком-то этапе и в какой-то форме необходим синтез и унификация. Именно *это*, а не иное действие в итоге признается правильным ответом либо подходящей мерой в сложной социальной и политической реальности — происходит редукция или синтез, общие как для исторического сочинения, так и для политической практики. В моей книге «Историческая репрезентация», составляющей пару с данной, размышление о природе этой синтезирующей операции приводит к выводу, что ключом для ее верного понимания служит понятие репрезентации. Кроме того, там демонстрируется, что репрезентация — будь то историческая репрезентация прошлого или репрезентация политической реальности, лежащая в основе любого осмысленного политического действия, — по сути, является эстетической. Разумеется, немислимо, да и неин-

тересно подвергать сомнению ценность для нашего представления о прошлом или для политической деятельности всех тех методов, которые были разработаны либо усовершенствованы учеными (социологами) и эпистемологами, размышлявшими об отношении знания (или языка) и мира. Однако какую бы помощь ни предлагали специалисты, все в результате сводится к акту эстетического синтеза. Этот финальный шаг невозможно свести к простому использованию профессиональных методов. Именно здесь встречаются политик и историк.

Во-вторых, политическое действие требует не только адекватной оценки своего контекста: нередко, пусть и не всегда, оно ставит своей целью реализацию определенных политических или этических идеалов. По двум причинам нам и здесь приходится призвать на помощь логику исторического сочинения. Начнем с того, что существует проблема применения политического идеала к ситуации, в которой действует политик. Как сопоставить свободную от контекста и весьма определенную цель с данной сложной социальной реальностью? Это равносильно требованию подобрать правильные слова после прослушивания, скажем, «Высокой мессы» Баха: для решения подобной проблемы нет правил, применимых во всех мыслимых обстоятельствах. Но нельзя не поразиться возникающей здесь аналогии с деятельностью историка, который обращает свой взгляд в прошлое, задаваясь конкретными вопросами: например, что явилось причиной исторического феномена, как его можно охарактеризовать, что составляет его сущность и тому подобное. Политик, реализующий политический идеал, и историк, отвечающий на вопросы о прошлом, обязаны считаться с тем, как абстрактный принцип (политический идеал или исторический вопрос) проникает в сложную социальную и политическую реальность. Вот почему понимание того, как историк решает данную проблему, несомненно, полезно для политической практики.

Не менее очевидно, что многое зависит от сути политических идеалов. Как показано в главе II книги «Историческая репрезентация», критерии убедительности, которыми руководствуются при оценке достоинств исторической репрезентации, сами по себе ценностно-независимы — следовательно, эстетика при этом первенствует над этикой. Это оправдывает вывод, что историческое сочинение может быть прочитано как неявное высказывание за и против тех или иных политических идеа-

лов и ценностей. Самые убедительные исторические сочинения вдохновлены и проникнуты наилучшими политическими идеалами и ценностями. Разумеется, наши собственные политические идеалы и ценности часто влияют на положительную или отрицательную оценку исторической репрезентации. Но история историописания предлагает объективную норму и надежные измерительные инструменты для выяснения того, какие исторические репрезентации внушают большее уважение, чем другие. Анализ ценностей, доминирующих в самых убедительных исторических репрезентациях, служит лучшим проводником в мире ценностей. Таким образом, в мире ценностей мы отнюдь не находимся в области, где властвуют субъективные предпочтения. Не какая-то окончательная либо предельная политическая или этическая система, но логика историописания позволяет нам принять объективное решение о политических ценностях и идеалах.

Конечно, выступить «за» или «против» политической ценности можно вопреки собственному знанию и суждению. Примеров тому немало: любовь к политическому идеалу нередко берет верх над любовью к историческому разуму, а политический или этический идеализм конфликтует с трезвыми, но приземленными итогами споров между историками. Более того, достаточно вспомнить о марксистской практике сочинения истории, чтобы понять сложность освобождения этических предпочтений от эстетических, диктуемых репрезентацией. В таких случаях иногда лучше подождать, пока осядет пыль, иначе невозможно отличить одно от другого. Однако это не должно отвлекать нас от того, что с логической точки зрения при сочинении истории эстетические критерии берут верх над этическими, поэтому в ретроспективно лучших исторических описаниях обнаруживаются правильные политические идеалы. Можно возразить, что история историописания предлагает немало примеров пагубного влияния низменных личных интересов, идеологических предубеждений или даже цензуры на суждение о достоинствах исторической репрезентации. Но данный факт просто указывает на то, какими должны быть наши высшие политические идеалы, а именно: свобода мысли и прессы, готовность подвергнуть себя риску в исторических дебатах. Если соблюдаются эти два предварительных условия открытых исторических дебатов, все прочее можно спокойно доверить течению и итогам диспута.

Отсюда следует, что на историю можно положиться не только в адекватной оценке ситуации, в которой действует политик, но и в выборе лучших и самых рациональных политических идеалов. Этот вывод важен для определения роли этики в политике (и в политической теории). Заметим, что предшествующие рассуждения ничуть не устранили этику из политической деятельности и не подвергают сомнению существенную роль этики при выборе политического решения. Вышесказанное означает лишь, что историописание показывает, какой этике следует отдать предпочтение; но после прояснения этого вопроса ничто не мешает отнестись к этике с должной серьезностью. Повторюсь: приоритет истории над этикой нельзя понимать как косвенный призыв к нивелированию этики или к сомнению в ее направляющей роли для этического и политического действия.

ЭТИКА

Но, как известно, подлинная проблема в другом. Она дает о себе знать лишь тогда, когда контекст политического действия вынуждает политика поступиться требованиями этики или, согласно хрестоматийной формулировке, когда долг политика в отношении общего блага приходит в противоречие с его долгом уважать права частных лиц. Первый тип долженствования (часто) отождествляется с требованиями истории, а второй — с требованиями этики. В нашей дискуссии вместо двух богов — бога истории и бога политики — возникают три: истории, политики и этики. В отличие от счастливой гармонии христианского пантеона, где Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой образуют Святую Троицу, этот пантеон раздирают внутренние противоречия. Распря на политическом небосклоне вынуждает политика выбирать между союзом с историей и союзом с этикой.

Здесь уместно предварительное замечание. Конфликт, с которым сталкивается политик, можно сформулировать исключительно в «исторических» либо «этических» терминах. На этом важно остановиться, поскольку нельзя ошибочно отождествлять реальную политическую проблему с дилеммой выбора между историей и этикой. Выбор политика в связи с этой дилеммой не приводит к автоматическому решению всех политических проблем. Порой решения, оправданные исторической логикой, выглядят на удивление сходными с решениями, подчиненными

требованиям этики, и наоборот. Ведь даже если политик обращается к историческому опыту или к политической «предусмотрительности» (самый уместный в данном контексте термин⁴), это может убедить его поставить права личности выше общего блага. Политик сделает вывод, что альтернативный вариант приведет к губительному социальному конфликту, чреватому гражданской войной или революцией. Со своей стороны этика нередко требует предпочесть общее благое правам частных лиц. Политик может рассудить, что правом собственности богачей следует пренебречь, поскольку более справедливое распределение богатства и доходов в конечном счете отвечает интересам всей нации. Поэтому не следует схематизировать оппозицию между историей и этикой, полагая, что все сомнения политиков разрешатся, как только они сделают выбор в этом конфликте. Хотя обе дисциплины предлагают свои подходы к политическим проблемам, они не дают автоматических советов, что делать: в каждом случае по-прежнему требуется внимательное и ответственное рассуждение, анализ альтернатив.

Поскольку подходы истории и этики разнятся, можно поставить вопрос о природе этого разногласия. Очевидно, здесь стоит вспомнить о Макиавелли с его печально знаменитым высказыванием о том, что государь должен *entrare nel male, necessitato*⁵. Другими словами, историческая необходимость порой вынуждает государя идти против требований (христианской) этики. Несмотря на то что позиция Макиавелли ясна, определить суть конфликта между исторической предусмотрительностью и этикой непросто. Ведь согласно сказанному в предшествующем абзаце, этот конфликт, в принципе, можно сформулировать исключительно в терминах самой этики. Действительно, если политик стоит перед выбором между заботой об общем благе и уважением к правам частных лиц, можно развить вариант конвенционалистской или утилитарной этики, требующей предпочесть первую альтернативу второй. (Поверхностный) конфликт истории и этики фактически превращается в гражданскую войну между этическими системами.

⁴ Prudence (англ.), prudentia (лат.), phronesis (др.-греч.) — благоразумие, рассудительность, предусмотрительность. — Примеч. пер.

⁵ При надобности не чураться и зла (Макиавелли. Государь, XVIII / пер. Г. Муравьевой). — Примеч. пер.

Тем не менее, когда политику приходится выбирать, с одной стороны, между необходимостью обмана и убийства ради общего блага, а с другой стороны — достойным поведением, нам неодолимо хочется выразить эту дилемму через оппозицию истории и этики. Пятисотлетний скандал вокруг макиавеллизма возможен лишь потому, что мы без колебаний отвергаем все попытки применения «исторической опции» в сфере этики. Но почему? Если даже в большинстве этических систем эта опция неуместна, априорная необходимость ее запрета во *всех* этических системах неочевидна. Так откуда происходит твердое намерение видеть здесь исключительно конфликт истории и этики?

Подозреваю, что мы не склонны видеть в «исторической опции» решение дилеммы. Это просто *выбор* встает на сторону выбор, который, возможно, весьма поспособствовал преумножению общего блага, но в то же время заставил политиков совершать величайшие несправедливости в отношении частных лиц. Этот выбор совершенно не решает нашу проблему. Ведь подлинное решение обеспечило бы нас общим благом и уважением к правам личности. Именно этого всегда ждут от этики. В такого рода дилеммах мы видим конфликт истории и этики, а не признак гражданской войны в самой этике, поскольку убеждены, что этические проблемы, подобно научным, всегда разрешимы, если заниматься ими серьезно и долго. Мы полагаем, что в царстве этики все человеческие поступки соизмеримы: действительно, разве сама рациональность этической дискуссии не «порождает», не создает или не предполагает автоматически атмосферу соизмеримости? Если этические проблемы обсуждают рационально (а кто в этом усомнится?), разве не составляет сам разум *tertia comparationis*⁶ всех моральных альтернатив, как бы сильно они ни различались и сколь бы мало общего между ними ни было на первый взгляд? Поэтому, когда этика сталкивается с неразрешимыми парадоксами, нам хочется верить в то, что подлинного злодея нужно искать в иной области — например, в истории.

Мы наконец подходим к сути проблемы, которую Макиавелли делает задачей политической философии. Можно ли представить все наши моральные дилеммы соизмеримыми? Как

⁶ Третий член сравнения (*лат.*). — *Примеч. пер.*

показал Исаяя Бёрлин⁷, на этот вопрос Макиавелли ответил твердым и недвусмысленным «нет», представив своим читателям несоизмеримость моральных идеалов — в его случае речь шла о несоизмеримости христианской этики и языческой морали, откуда и происходит его обращение к «исторической предусмотрительности». В нашем мире одно моральное благо может быть смертельным противником другого морального блага. Без сомнения, Берлин прав, утверждая, что мы с крайним нежеланием признаем этот печальный аспект *condition humaine*⁸ и склонны забывать о нем; но забвение создает непреодолимый разрыв между предписаниями истории и этики. Точнее говорить о двух разрывах: разрыве между историческим и этическим разумом и разрыве между их рекомендациями о том, что делать в случае возникновения политической дилеммы.

Пример Макиавелли показывает, почему этот разрыв глубок и неустраним. Макиавелли принадлежит к республиканской традиции, восходящей к римским историкам и политическим теоретикам. Согласно этой традиции, гражданин обязан ставить общее благо выше личного благоденствия. *Iustum et dulce est pro patria mori*⁹. С одной стороны, макиавеллевский государь — подлинный сын Ренессанса, то есть человек, полагающийся лишь на собственную искусность во враждебном мире, где правят случай и (неблагоприятная) судьба. Всеохватные, обнадеживавшие системы мысли, стоическая и христианская, рухнули, а пребывавшие некогда в тесном союзе сферы частной и общественной жизни противостоят друг другу с невиданным ожесточением. Отдельный человек (тем более политик) в итоге принадлежит двум мирам, разрыв между которыми совершенно непреодолим. Пока мы различаем частное и общее (а каждая из этих сфер — естественный биотоп определенного набора этических систем), конфликт истории с этикой в равной степени неизбежен и неразрешим. Свидетельство тому — пятьсот лет бесплодной интеллектуальной борьбы с проблемой Макиавелли. Пока сохраняется вера в различие частного и общего, всякий, кто рискнет погрузиться в мрачную трясиину этих безнадежных парадоксов, вытирается на поверхность, испачкавшись в грязи.

⁷ Замечания Берлина о Макиавелли рассматриваются во втором разделе главы VI.

⁸ Ситуация человека (фр.). — Примеч. пер.

⁹ Справедливо и прекрасно погибнуть за Отечество (лат.). — Примеч. пер.

ПЛАН КНИГИ

В первых трех главах предлагается исторический очерк конфликта истории и этики. В главе I говорится об отношениях макиавеллизма и философии естественного права. Необходимо различать два варианта макиавеллизма: традицию *arsana imperii*¹⁰, отвергающую малейшие уступки в конфликте истории и этики (или естественного права), и традицию *raison d'état*¹¹, стремящуюся к их примирению. Первая традиция была историческим курьезом, исчезнувшим к середине XVII века; вторая расцвела главным образом в Германии и, как доказал Фридрих Мейнеке, существенно повлияла на развитие историзма, то есть на формирование признанного сегодня типа историописания.

В главе II продолжается тема историзма, в частности говорится о том, почему политическая философия Берка не позволяла ему приходиться к истористским выводам. Этот вопрос закономерен, ведь убежденность Берка в том, что политическому деятелю необходимо с вниманием относиться к актуальным историческим фактам, сближала его с историзмом. Я показываю, что аристотелизм Берка отличался от аристотелизма, распространенного в Германии XVIII века. Если немецкий аристотелизм оправдывал практику формулирования политических целей на основе исторического опыта, то для аристотелизма Берка история была лишь реальностью, с которой нужно считаться. Для политиков в Германии история была *проводником*, для Берка — всего лишь неизбежным *спутником*.

В главе III Фрейд представлен как философ естественного права, для которого природное состояние — это первобытное племя, находящееся под властью могущественного отца. Современное человеческое общество, согласно Фрейду, начинается с убийства отца сыновьями. Аналогично мыслителям естественного права XVII–XVIII веков Фрейд выводит все существенные черты человеческого общества из обстоятельств, при которых свершился переход от природного состояния к человеческому обществу. Но если прежняя философия естественного права часто использовала эти идеи для улучшения социального и политического порядка, Фрейд не видит возможности для прогресса. Причина не в политическом пессимизме Фрейда (хотя

¹⁰ Тайны власти (лат.). — Примеч. пер.

¹¹ Государственный интерес (фр.). — Примеч. пер.

это, безусловно, кое-что объясняет), но главным образом в исходе борьбы между психологизмом и социологизмом, характерной для любых спекуляций на тему естественного права. Когда первенствовал психологический элемент (как у Руссо), самым вероятным исходом был пессимизм; но, когда изображение человеческой души было слабым и поверхностным (как у Гоббса и Локка) и главное внимание уделялось социальному взаимодействию, шансы на оптимистичные выводы возрастали. В итоге получается либо добротная философия естественного права, основанная на плохой психологии, либо достойная психология, ведущая к никудышной философии естественного права. Неустрашимое противоречие между психологией и политикой, по-видимому, одна из роковых слабостей любой философии естественного права.

Предмет наиболее важной в книге главы IV — представительная демократия. Эта тема, на первый взгляд, не связана с содержанием предшествующих глав, тем не менее преемственность существует. В первых трех главах философия естественного права рассматривается главным образом с точки зрения ее борьбы с историей, а эта борьба заставляет вспомнить наше упорство в понимании демократии как вневременной истины, — точно такой же истиной для теоретиков XVII–XVIII веков было естественное право. Конечно, я далек от мысли, что исторические и интеллектуальные истоки демократии не были до сих пор объектом активного и основательного изучения. Напротив, весьма немногие иные аспекты прошлого подвергались столь же интенсивному исследованию со стороны историков, философов, социологов и других мыслителей. Но поскольку все мы демократы (будем хотя бы на это уповать!), мы склонны считать демократию исполнением нашей политической судьбы, политической системой, которая пребудет с нами до конца человеческой истории. Действительно, разве есть альтернативы у демократии? Вопреки всем исследованиям, посвященным становлению демократии в истории, мы склонны спасать демократию от истории и тем самым, пусть и непреднамеренно, воспроизводить шаблоны философии естественного права. В частности, мы склонны видеть нашу политическую историю, предшествовавшую торжеству демократии, почти в том же свете, в каком теоретики естественного права видели природное состояние. Эпоха демократии для нас то же, что для них

эра социального договора. Наконец, сегодня, когда демократия (к счастью) триумфально шествует по миру, мы готовы вместе с Фрэнсисом Фукуямой верить в наступление исторического периода, исключаящего в будущем фундаментальные политические изменения. Что придет на смену демократии? Тем, кто серьезно изучает этот вопрос, мы склонны отказывать в приверженности к демократии.

Признание параллелей между образом мысли, характерным для философии естественного права, и нашим собственным контрпродуктивным отношением к демократии способно вдохновить на попытку радикальной историзации демократии. Такая историзация представлена в главе IV, где предлагается взгляд на демократию как на (ограниченный во времени) способ решения (ограниченной во времени) политической проблемы, связанной с необходимостью избежать гражданской войны в обществе, раздираемом острыми политическими, социальными и экономическими противоречиями. Из подобной историзации демократии следуют выводы, в двух отношениях расходящиеся с традиционными представлениями о демократии. С одной стороны, демократия релятивизируется: нам не следует, как нередко случается, видеть в ней воплощение политической Истины в последней инстанции. С другой стороны, возникает более реалистичное, чем принято, отношение к демократии, способное принести демократии бóльшую пользу, чем ее внеисторическое обожание и слепое прославление. После осознания случайности исторических условий рождения демократии приходится исследовать отличие настоящего от этих исторических условий; а это помогает понять, как нужно адаптировать демократию к изменившимся обстоятельствам. Ключевое отличие в том, что политические проблемы периода возникновения демократии обычно противопоставляли одну группу избирателей другой, тогда как политические проблемы настоящего времени более или менее одинаковы для всего электората. Определение этого сдвига (или сходных изменений) — *conditio sine qua non*¹² для сохранения силы и жизнеспособности наших демократий.

Первый шаг в сторону переориентации концепции демократии предложен в главе V. Основная идея состоит в том, что политическое содержание согласуется с функционированием де-

¹² Необходимое условие (лат.). — Примеч. пер.

мократии исходного типа, то есть демократии, нацеленной на *juste milieu*¹³ между крайними позициями в политически поляризованном обществе. Однако новый тип политической проблематики, то есть ряд проблем, с которыми более или менее сходным образом сталкивается весь электорат, наилучшим образом формулируется (и разрешается) в терминах *формы* или *стиля*. Если гражданское общество, раздираемое противоречиями, нуждается в политике с идеологическим содержанием, то наши деполитизированные общества нуждаются в политике *стиля*. Характерен сдвиг от материального к процедурному законодательству, наблюдаемый в большинстве западных стран последние двадцать-тридцать лет: законодательство в современных демократиях уделяет больше внимания тому, как и посредством каких процедур достигается результат, чем самому результату публичного принятия решений. На возражение, что в политике результат — единственное, что в конечном счете имеет значение, и что пренебрежение политикой содержания во имя политики *стиля* — это безответственное предательство демократии, можно ответить так: между формой и содержанием есть преемственность. Содержание имеет подходящую себе форму, а форма определяет содержание. Следовательно, политика *формы* или *стиля* также порождает политическое содержание.

Главы с VI по IX составляют один развернутый аргумент. В главе VI рассматриваются и при необходимости уточняются доводы Рорти в пользу демократического антифундаментализма. Главным источником вдохновения для Рорти были идеи Ролза о достижении консенсуса при демократии. Фундаменталистские черты аргументации Ролза (и Рорти) будут указаны и подвергнуты критике. В главе VII анализируются тенденции в современных демократиях, угрожающие демократическому антифундаментализму и объединяемые под рубрикой «Сети». Внутри сложной паутины наших современных обществ сети подобны математическим расчетам в тексте: они неизбежны, но стилистически нарушают великое целое, основанием которому служат. Влияние научных, технологических и финансовых сетей все более ощутимо в современном публичном принятии решений. Я показываю, во-первых, что это угрожает благополучию

¹³ Золотая середина (*фр.*). — *Примеч. пер.*

демократии и, во-вторых, что по самой своей сути *режим сети* никогда не заменит демократию. *Quis custodiet ipsos custodes?*¹⁴ Не существует «сети всех сетей», а значит, демократическое принятие решений впредь сохранит свою значимость для контроля над тем, как взаимодействуют (либо должны взаимодействовать) между собой сети. В двух последних главах рассматриваются выводы, следующие из антифундаменталистской концепции демократии, как для функционирования этой политической системы (глава VIII), так и для обеспечения политических прав граждан (глава IX). В главе VIII введенное Ролзом понятие «перекрывающийся консенсус» противопоставляется понятию «политический компромисс». Выявляются фундаменталистские предпосылки консенсуса. Показывается, что компромисс лучше согласуется с практикой демократии и, кроме того, объясняет поразительную политическую креативность демократии. Главный источник креативности в том, что политик на практике вынужден перенимать образ мыслей историка. Наконец, глава IX посвящена рассмотрению распространенного обвинения, предъявляемого историзму и историческому подходу к политике, согласно которому они представляют угрозу для прав человека. Однако историзм предлагает более сильный аргумент в защиту прав человека, чем противостоящая ему антиисторическая традиция. Все это позволяет оценить те преимущества, которые возникают при внимательном отношении к совету Макиавелли и при взгляде на политику и политическую теорию с точки зрения истории.

¹⁴ Кто будет сторожить самих стражей? (*лат.*) (Ювенал. Сатиры, книга II, 6, 346–347. — *Примеч. пер.*)

ИСТОРИЯ И ПОЛИТИКА

Ч А С Т Ь П Е Р В А Я

1. История и политическая теория

Политическая теория — дисциплина, занимающаяся политическим устройством жизни людей. Она обосновывает или критикует это устройство с помощью философских и исторических аргументов либо предпочитает какой-то альтернативный подход. В итоге суть этой дисциплины едва определима. Вот почему для прояснения этого логично обратиться к истории политической теории: история понятия нередко указывает на лучшие средства для постижения его сути. Такая история представлена в учебниках по истории политической мысли из разряда «From Plato to NATO» («От Платона до НАТО») — причем один из учебников действительно так называется¹.

Анализ содержания этих учебников демонстрирует почти полное единодушие в том, что касается списка самых выдающихся политических философов до 1800 года. Независимо от того, с кого начинается изложение классической политической теории — с политика Перикла, историка Геродота или архитектора Гипподама Милетского, — во всех учебниках в качестве наиболее важных теоретиков классической эпохи упомянуты: Платон, Аристотель, Цицерон, иногда Полибий. Еще большее единодушие наблюдается в отношении к эпохе, простирающейся от Средневековья до XIX столетия, которую можно считать золотым веком истории политической философии. Все учебники указывают почти неизменный набор мыслителей: Макиавелли, Боден, Альгузий, Гроций, Гоббс, Спиноза, Локк, Монтескье, Юм, Бентам и Кант.

Но, судя по всему, гораздо меньше поводов для согласия у авторов учебников вызывает вопрос о том, кого отнести к важ-

¹ Стоит упомянуть, напр.: *Sabine G. H. A History of Political Theory*. London, 1968; *Prélot M. Histoire des idées politiques*. Paris, 1970; *Theimer W. Geschichte der politischen Ideen*. Bern, 1955; *Arnhart L. Political Questions*. New York, 1987; *Straus L., Cropsey G. History of Political Theory*. Chicago, 1963; *Macfarlan L. Modern Political Theory*. Oxford, 1970; *Plamenatz J. Man and Society*. In 2 vols. London, 1963; *Rafael D. D. Problems of Political Philosophy*. London, 1976; *McClelland J. S. A History of Western Political Thought*. London, 1996. *From Plato to NATO* / ed. by B. Readhead. London, 1984.

нейшим теоретикам после 1800 года; в истории политической мысли нет универсально признанного канона для постклассического периода. Конечно, Гегель и Маркс всегда приковывают к себе внимание. Но за исключением этих очевидных имен, на которые ориентируется изложение превратностей политической теории XIX–XX веков, историки этого предмета следуют каждый своим путем. Так, в книге Джорджа Сабина (остающейся спустя полвека, вероятно, лучшим и самым распространенным учебником) не рассматривается Токвиль, тогда как другие исследователи видят в Токвиле главного аналитика демократии (начала XIX века). Ульрих Штайнфорт обходит молчанием утилитаристов — Бентама, Джеймса и Джона Стюарта Милля — вероятно, они показались ему чересчур английскими. Зато у этого автора есть длинная глава о Вебере, имя которого редко попадает в десятку самых популярных у авторов англосаксонских учебников. Сходная неопределенность обнаруживается в отношении исторического значения таких мыслителей, как Фридрих Ницше, Зигмунд Фрейд, Бенедетто Кроче, Морис Баррес, Фердинанд Теннис, Вильфредо Парето, Йозеф Шумпетер, Фридрих фон Хайек или Ханна Арендт. Даже целые политические движения, чья историческая важность не вызывает сомнений (например, национализм), упоминаются в одних и отсутствуют в других учебниках.

Подобному положению дел приводится несколько объяснений, но я ограничусь здесь одним общепринятым, поскольку оно само по себе является лучшим вступлением к этой главе. Объяснение дается в два этапа. На первом этапе указывается, что с начала XIX века история оказывает все большее влияние на политическую мысль. Как известно, наиболее зрелая политическая мысль предшествующей эпохи также была инспирирована решением конкретных исторических проблем («Левиафан» Гоббса — реакция на пуританскую революцию, теория Локка — реакция на автократию Якова II), но эти конкретные и скоротечные политические проблемы были тут же переведены во внеисторические идиомы философии естественного права. Со своей стороны политическая теория XIX века последовательно отказывалась пренебрегать историческим измерением политических вопросов: она всегда ценила конкретный исторический контекст интересовавшей ее проблемы. Вспомним здесь о таких теоретиках, как Гегель, Маркс, Конт, Спенсер, Токвиль

или Вебер. История перестает быть всего лишь контекстом, но делается самой сутью политической мысли.

На втором этапе говорится о напряженных отношениях, если не откровенной вражде, между философским априоризмом (в частности, в политической теории) и присущим историческому подходу уважением к неустранимой сложности фактов. С учетом этой вражды легко объяснима дезориентация постклассической политической мысли: историзированная политическая теория — очевидный пример *contradictio in adiectis*². А поскольку из логического противоречия выводимо любое утверждение, то дисциплина, содержащая противоречие в определении своей сути, способна развиваться в любом направлении. Вряд ли стоит напоминать, что на этом фоне возникает кризис историзма, причина которого кроется в предполагаемой несовместимости вневременных ценностей и исторических изменений.

Наиболее четко данная проблема была сформулирована германо-американским политическим теоретиком Лео Штраусом, чьи идеи пользуются большим влиянием в современной американской политической мысли³. В своей книге «Естественное право и история» (1950) Штраус утверждает, что история и историзм становятся причиной смерти политической теории и любого политического мышления. Он пишет: «...Не может быть естественного права, если нет неизменных принципов справедливости, но история показывает нам, что все принципы справедливости изменчивы»⁴. Для Штрауса — как и для неокантианцев, также задетых кризисом историзма, — политическая теория означает поиск неизменных истин политики и морали. Именно поэтому философия естественного права, провозгласившая своей целью вывести неизменные политические истины из знания о природе человека, была для Штрауса единственным надежным прообразом любой политической мысли. С этой позиции история должна быть исключена из политической мысли. Даже взгляд Гегеля, стремившегося превзойти историю и исторические перемены, представив историю как движение

² Противоречие в основаниях (лат.). — Примеч. пер.

³ О работах и влиянии Л. Штрауса см.: *Strauss L. The Rebirth of Classical Rationalism* / ed. by T.L. Pangle. Chicago, 1990.

⁴ *Strauss L. Natural Right and History*. Chicago 1950, reprint 1968. P. 9. (Рус. пер.: *Штраус Л. Естественное право и история* / пер. Е. Адлер, Б. Путько. М., 2007. С. 15.)

к моменту абсолютной сверхисторической истины, отвергается Штраусом. По его мнению, Гегель не предлагает оправдания этим сверхисторическим или абсолютным политическим истинам, обнаруживающим себя в конце истории, то есть независимо от самой истории: «Но нельзя просто полагать, что ты живешь или мыслишь в абсолютный момент [то есть в гегелевском конце истории]; надо хоть как-то показать, по каким критериям можно узнать этот абсолютный момент как таковой»⁵. Если у нас нет внеисторических критериев морально и политически правильного, мы не можем прийти к моральной и политической оценке того, что мы вместе с Гегелем обнаруживаем в конце истории. Отсюда следует вывод, что истины истории и политической теории несовместимы, а обосновывать политическую теорию посредством истории — все равно что строить замок на песке⁶.

Это рассуждение станет предметом анализа в настоящей главе. Во-первых, прав ли Штраус в том, что историческая или истористская политическая теория — это противоречие в определениях? Во-вторых, нам придется внимательно рассмотреть отношения между историей и философией естественного права. Ведь если прав Штраус, конфликт между историей и политической теорией наиболее ясно выражен именно здесь. Это значит, что нам придется сосредоточиться на эпохе до XIX века.

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА

Чтобы понять отношения между историей и политической философией этой эпохи, необходимо, прежде всего, достичь ясности относительно их статуса как дисциплин или форм знания. Что касается истории, лучше всего начать с серьезного научного исследования Арно Зейферта «*Cognitio historica: Die Geschichte als Namengeberin der frühneuzeitlichen Empirie*» («Историческое знание: понимание истории как эмпирического знания в начале Нового времени»⁷), в котором демонстрируется, что в этот пе-

⁵ Strauss L. Op. cit. P. 29. (Там же. С. 34.)

⁶ В главе II моей книги «Историческая репрезентация» (Ankersmit F.R. *Historical Representation*. Stanford, 2001) я показываю проблематичность этого аргумента и то, как избежать релятивизма в политической теории, которая берет историю за отправную точку.

⁷ В скобках дан русский перевод принадлежащего Анкерсмицу английского перевода названия книги Зейферта. Буквальный русский перевод

риод слово «история» имело два значения. Во-первых, оно относилось к событиям человеческой истории и к описанию этих событий, создаваемому историком. Именно в таком значении мы используем это слово, так же его использовали и в Античности. Но нужно заметить, что в XVI–XVIII веках под историей в традиционном смысле понимали главным образом классическую историю. Потребовалось время, чтобы под историей стали понимать вообще историю народов, войн или выдающихся деятелей позднейших эпох. Во-вторых, это слово употреблялось в значении «опытного познания», приобретаемого в любой области человеческого опыта и исследования. Такое употребление согласуется с исходным значением греческого слова *historia*⁸, означающего «исследование», «изыскание» либо вообще «сведения». Даже сегодня иногда говорят «естественная история» вместо «биологии», что оправдано использованием слова «история» в этом значении. Характерно, что еще Кант писал об экспериментальной физике: «Экспериментальная физика исторична, поскольку она имеет дело с отдельными фактами. Только благодаря общим законам она становится по-настоящему рациональной. История лишь предоставляет нам материал для рационального познания»⁹. Вплоть до Канта историческое знание понимается в первую очередь как *cognitio singularum*, знание отдельных фактов; тем самым оно подобно любому «донаучному знанию, близкому к реальности»¹⁰. Исторические события в нашем смысле образуют только подкласс этого общего знания. В итоге более общие свойства этого вида знания неизбежно переносятся на историю в нашем смысле¹¹.

На первый взгляд, здесь обнаруживается прообраз неокантовского различия между идеографическими историческими науками и номотетическими естественными науками. Но это

названия книги с немецкого и латыни: «Историческое знание: история как имя для эмпирии в начале Нового времени». — *Примеч. пер.*

⁸ В оригинале инфинитив греческого глагола *historein* — «исследовать». — *Примеч. пер.*

⁹ Цит. по: *Seifert A. Cognitio historica: Die Geschichte als Namengeberin der frühneuezeitlichen Empirie. Berlin, 1976. S. 185–186.*

¹⁰ «vorwissenschaftliche, wirklichkeitsnahe Sacherkenntnis» (*Ibid.* S. 10, 29).

¹¹ Помимо того, о чем здесь говорится, примерами этого являются истории соответственно как *narratio rei gesta, vera narratio, cognitio quod est, sensata cognitio, cognitio aliorum sensibus, nuda facta notitia* и *cognitio ex datis*.

равносильно проекции современного понимания отношений между частным и общим на предшествующее ей понимание отношений между историческим и научным. С современной точки зрения знание частного может быть достоверным даже в отсутствии обобщения. Вспомним хотя бы о высказываниях типа «лежит кошка на рогожке»¹². Зейферт показывает, что специфическое для раннего Нового времени понимание истории выражается в том, что «историческое знание» данного периода обычно рассматривается как знание «вероятного». Сразу нужно оговорить, что «вероятное» нельзя понимать в современном смысле «статистически вероятного». Скорее речь идет о понимании «вероятного» в аристотелевском смысле как неизбежно и неустранимо ненадежного, недостоверного и несовершенного. По замечанию Ноткера Хаммерштайна: «Неполное знание о чужом опыте — это область вероятного»¹³. Некоторые авторы XVII века (например, Гергард Иоганн Фосс) заходили так далеко, что не только отказывали «историческому» в статусе науки, но и не желали относить его к искусству или к учебной дисциплине¹⁴.

Итак, «история» в этом смысле — область неустранимой эпистемологической неопределенности, где можно двигаться лишь на ощупь, где никогда нельзя гарантировать, что контакт с реальностью принесет успех в форме знания или чего-то еще. Вероятное знание относится к сфере *doxai*, то есть публично высказанных мнений. В рамках открытой дискуссии некоторая точка зрения прекрасно уживается с прямо противоположной при невозможности установить истину. Отсюда следует, что историк может прикоснуться к исторической истине только через утверждение в своем сочинении мнений, не выходящих за пределы общедоступного

¹² The cat lies on the mat (англ.) — этот пример регулярно встречается в книгах Анкерсмита. — *Примеч. пер.*

¹³ «Wahrscheinlichkeit heist wenn ich fremde Empfindungen unvollkommen erkenne». (Цит. по: *Seifert A. Cognitio historica. S. 159.*)

¹⁴ Хотя историческая теория (*historice*, в терминах Фосса) обладала статусом науки, «как мы сказали, хотя написание истории — это не наука и не искусство, а следовательно, вообще не дисциплина, видеть вещи исторически — это искусство, поскольку подразумевает апелляцию к универсалиям». (Цит. по: *Ibid. S. 20.*) Н. Викенден приписывает Фоссу гораздо более современную концепцию истории. (См.: *Wickenden N.G.J. Vossius and the Humanist Conception of History. Assen, Neth., 1993. P. 66–72, 82–88.*) Но следует учесть, что Викенден пытается максимально приблизить Фосса к современным концепциям исторической теории.

знания. Такая книга, как «Опыт о нравах» Вольтера, где предлагается потрясающая по своей новизне панорама прошлого без упоминания каких-либо новых, неизвестных и потому сомнительных исторических фактов, внушает гораздо большее уважение, чем труды эрудитов-картезианцев. Несмотря на то что с возникновением историзма представление новых исторических фактов приветствуется и, возможно, даже считается главной заслугой исторического сочинения, аристотелевская парадигма требует от историка эксплуатировать знание, уже ставшее общеизвестным. В этой связи стоит восхититься не столько гением, сколько смелостью Гиббона, не побоявшегося привести в «Истории упадка и разрушения Римской империи» множество сведений, незнакомых его читательской аудитории. Произведенный Гиббоном революционный синтез аристотелевской и картезианской концепции исторического факта, судя по всему, был на грани восприимчивости его аудитории и снискал невероятный успех лишь благодаря величественному и красноречивому потоку его прозы. Риторика Гиббона превращала новые факты в *doxai*, без дара красноречия он показался бы своим читателям жалким педантом.

В то же время философия (все равно — этическая или политическая) рассматривалась как дисциплина, предлагающая достоверное, научное знание. И поэтому физика нередко называлась «натуральной философией». Отсюда следует, что история не способна ничем помочь в поисках науки об обществе. Подобная наука об обществе, задуманная философией естественного права, должна базироваться на несомненной достоверности, связанной впоследствии с картезианским познающим субъектом. Такое предположение высказывает Гуго Гроций, который, разумеется, не был картезианцем, в методологических пролегоменах к сочинению «О праве войны и мира»:

Предмет моей главной заботы — выразить то, что относится к естественному праву, понятиями настолько ясными, что никто не сможет оспаривать их по своей воле. Принципы естественного права, правильно понятые разумом, почти столь же очевидны, как чувственные ощущения¹⁵.

¹⁵ *Grotius H. De iure belli ac pacis. Amsterdam, 1720. P. xxii: «Primum mihi cura haec fuit, ut eorum quae ad ius naturae pertinent probationes referrem ad notiones quasdam tam certas, ut eas negare nemo possit, nisi sibi vim inferat. Principia enim eius iuris, si modo animum recte advertas, per se patent atque evidentialia sunt, ferme ad modum eorum quae sensibus externis percipimus».*

А в другом месте он даже ставит знак равенства между доказательствами в математике и в философии естественного права¹⁶. Следовательно, хотя Гроций не был противником доказательств в истории (стоит лишь вспомнить, как он использовал историю — скорее, злоупотреблял ею — в сочинении «*De antiquitate reipublicae Batavae*» («О древности и строе Батавской республики»)) для доказательства того, что суверенитет Голландии всегда принадлежал Генеральным штатам, а не правителям страны и их наследникам, например Филиппу II Испанскому) — история не играла никакой роли в его философии естественного права. Сходным образом большинство теорий общественного договора, предложенных после Гроция в XVII–XVIII веках, редуцировали историю к фундаментальному событию доисторического основания общества. Спустя полтора столетия та же идея обнаруживается у Руссо. Даже если согласиться с аргументацией Лайонела Госсмана или Горовица (в интереснейшей книге о французском мыслителе десятилетней давности¹⁷), что история занимает гораздо большее место в политической мысли Руссо, чем признают современные исследователи его творчества, приходится все-таки признать, что история оставалась для Руссо абстрактной категорией, никогда не включавшей в себя целостность и конкретные подробности, свойственные, например, истории отдельной нации.

На этом фоне особый интерес представляет позиция Гегеля. Ему удалось преодолеть традиционную дисциплинарную

¹⁶ *Grotius H.* Op. cit. P. xxv: «Я подчеркиваю свое намерение абстрагироваться от отдельных фактов и размышлять о законе так же, как математики исследуют геометрические фигуры, не обращая внимание на реальные предметы».

¹⁷ *Gossman L.* French Society and Culture: A Background fir Eighteenth-Century Literature. Englewood Cliffs, N.J., 1974; *Horowitz A.* Rousseau, Nature, and History. Toronto, 1986. Амбивалентное отношение Руссо к истории выражается в странном месте, которое занимает в его творчестве «Общественный договор». Если два «Размышления» объясняют, как в ходе реальной истории была искажена человеческая природа, совершенно антиисторический «Общественный договор» ставит своей целью не что иное, как легитимацию (крайней степени) социализации при некоторых хорошо определенных условиях. И поэтому история необходима для правильного понимания существующего общества, но все «препятствия» истории должны быть устранены, если мы хотим реализовать социальную «прозрачность» хорошего общества. Конечно, я прибегаю здесь к метафорам из прекрасной книги Жана Старобинского: *Starobinski J.* Jean-Jacques Rousseau: La Transparence et l'obstacle. Paris, 1971.

иерархию истории и философии с помощью разработанной им *философии истории*. Он хотел привнести свет философской истины в область того, что является лишь «вероятным», то есть в область исторической истины; по его словам, «философский подход не имеет другой цели, кроме устранения случайности исторического знания». Он надеялся достичь этой цели, наделив философский разум некоей ролью в истории. В своих лекциях по философии истории он утверждает: «единственную мысль, которую привносит с собой философия, является та простая мысль разума, что разум господствует в мире, так что, следовательно, и всемирно-исторический процесс совершался разумно»¹⁸. Идеи разума достаточно, поскольку разум действует в истории и, значит, способен постичь и познать себя, если его направить на то, что фактически является его собственным прошлым.

Как известно, приверженцы историзма обвиняли Гегеля в том, что он «открыл» в прошлом не больше исторических и политических истин, чем сам же в нем спрятал. Для ученых, подобных Ранке или Гумбольдту, Истина прошлого обнаруживается лишь благодаря исследованию *исторических фактов*, а не пустой философской спекуляции¹⁹. На самом деле это хорошо известное и, на первый взгляд, весьма скромное притязание имеет первостепенную важность, если рассматривать его в рамках истории отношения двух дисциплин. Действительно, оно означает полный переворот в иерархии: абсолютная достоверность признается теперь за историческим фактом, а философия низводится до уровня «вероятного». Таким образом, гегелевская философия истории представляет собой решающий момент в отношениях между двумя дисциплинами: статус истории был всегда несравнимо ниже статуса философии; Гегель возвысил историю до уровня философии и на которое время две дисциплины обрели неустойчивое равновесие в его философии истории. Но после Гегеля их роли меняются: философии отводится скромное место, прежде принадлежавшее истории, а история становится надежным фундаментом философии, в первую очередь — поли-

¹⁸ Hegel G. W. F. Die Vernunft in der Geschichte // Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte. In 4 vols. Vol. I. Hamburg, 1955. S. 28, 29. (Рус. пер.: Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории / пер. А.М. Водена. СПб.: Наука, 2000. С. 64.)

¹⁹ Ranke L. von. The Theory and Practice of History / eds G.G. Iggers, K. von Moltke. Indianapolis, 1973. P. 25–51.

тической. В рамках этого сценария гегелевскую систему можно трактовать скорее как итог, выдающийся пример или экземплификацию взаимного движения дисциплин, чем его причину. Это движение дисциплин, вероятно, лучше понимать как своего рода «большую длительность», *longue durée*²⁰, в интеллектуальной истории, порождающую события на «поверхности» (в частности, гегелевскую философию истории), а не зависящую от них. Фуко, автор книги «Слова и вещи», непременно убедил бы нас увидеть это именно в таком свете.

МАКИАВЕЛЛИ

Представленная выше почти штрауссианская картина непримиримого конфликта истории и философии естественного права слишком проста; ее нужно уточнить с учетом глубокого и решающего влияния, оказанного Макиавелли почти на все разновидности философии естественного права. Излишне напоминать, что Макиавелли всегда настаивал на том, что политик и теоретик политики должны знать конкретный исторический контекст, в рамках которого совершается политическое действие. В предисловии к «Рассуждению о первой декаде Тита Ливия» он утверждает, что «знание истории» — первоисточник всякого плодотворного политического прозрения, и его книга изобилует примерами того, какие политические прозрения могут посетить при чтении сочинения Тита Ливия «*Ab urbe condita*» («[История Рима] от основания города»). Чуть ниже Макиавелли замечает: «тот, кто со всем тщанием вникает в прошедшее, тот с легкостью угадает будущее всякой республики»²¹ — ясно указывая на историю и тот опыт, которому она учит, в качестве единственного разумного основания для успешных политических размышлений и действий.

Все это очевидно. Куда менее очевидно, каким образом обращение к истории, согласно Макиавелли, приводит (и приводит ли вообще?) к противоречию с философией естественного права. Сам Макиавелли никогда не занимался этим вопросом. Конечно, не будь это анахронизмом и бессмыслицей, можно было бы перечитать Макиавелли ради того, чтобы обнаружить

²⁰ Термин французской исторической школы «Анналов». — *Примеч. пер.*

²¹ *Machiavelli N.* Op. cit. P. 83–84. (Рус. пер.: *Макьявелли Н.* Указ. соч.; перевод несколько изменен.)

в его сочинениях некую теорию истории и многозначительно противопоставить ее философии естественного права, распространившейся в XVII–XVIII веках. Но если наша цель прояснить конфликт между макиавеллизмом и философией естественного права, нам лучше проследить, как этот конфликт развивался в реальных исторических обстоятельствах. Иными словами, следует установить, что происходит с наследием Макиавелли примерно между 1600 и 1800 годами и как позднейшие теоретики совмещают философию естественного права с убежденностью Макиавелли в необходимости исторического знания. Этой обширной теме посвящены целые библиотеки. Чтобы наш анализ оставался в рамках разумного (а это с неизбежностью заставляет пропустить много важных подробностей), полезно провести различие между двумя вариантами макиавеллизма.

ARCANA IMPERII

Первый вариант наиболее близок к непосредственному эффекту, который произвели сочинения Макиавелли на его современников; здесь не делается ни малейшей попытки смягчить нравственное возмущение, вызванное советами Макиавелли государю. Напротив, в рамках этой традиции, недавно описанной в чрезвычайно интересном исследовании Питера Дональдсона, утверждалось, что государю приходится жить и действовать в мире, отличном от нашего. Наше нравственное возмущение доказывает, как мало мы понимаем этот другой мир. Мир государя сокровенен для нас, простых граждан, поэтому в этой традиции задействовались все возможности барочной политической мысли, чтобы объяснить тайны власти и государя.

Эти тайны получили название *arcana imperii*; термин происходит от латинского глагола *arcere*, «закрывать», «запрещать доступ к»²²; еще лучший перевод предложил Эрнст Канторович — «государственные тайны»²³. Понятие *arcana imperii* имеет долгую и почтенную генеалогию, восходящую к использованию этого термина у Тацита и к тому, что описывается у Аристотеля как *sophismata* или *kryphia* власти. Хотя это понятие играло не-

²² Donaldson P. S. Machiavelli and Mystery of State. Cambridge, 1992. P. 10, 123, 200.

²³ Kantorowicz E. Mysteries of State: An Absolutist Concept and Its Late Medieval Origins // Harvard Theological Review. 1995. Vol. 48. No. 1. P. 65–93.

которую роль в Средние века²⁴, оно попадает в центр интенсивных дискуссий в XVI–XVII веках. Причина в том, что сочинения Макиавелли наполнили понятие *arcana* новым весьма драматичным содержанием; откровенное признание Макиавелли, что государь порой вынужден творить зло — что он должен, согласно знаменитой формулировке, *entrare nel male, necessitate*, — отныне становится парадигматическим содержанием понятия *arcana*. Это обстоятельство фиксирует уже Жан Боден в сочинении 1566 года «*Methodus ad facilem historiarum cognitionem*» («Метод легкого изучения истории»²⁵), указывая, что Макиавелли был первым, кто вновь поставил вопрос об *arcana*: «спустя 1200 лет, на протяжении которых варварство предало все забвению»²⁶.

Наиболее поразительные и наиболее ценные для нас утверждения об *arcana imperii* были высказаны Габриэлем Нодэ и Луи Машоном. Свои взгляды на *arcana* Нодэ (1600–1653) изложил в сочинении 1639 года «*Considérations sur les coups d'état*» («Размышления о государственных переворотах»). Он подчеркивал, что *coups d'état* — его термин для действий государя, относимых к *arcana*, — не просто достойные сожаления, но в целом общепринятые поступки, например: убийство военнопленных, когда плененных оказывается слишком много; шпионаж или неблагоприятные проступки государя. По словам Нодэ, всему этому можно дать рациональное объяснение и оправдать с точки зрения права. Совсем другое дело «перевороты», определяемые Нодэ следующим образом:

...дерзкие и выдающиеся поступки, которые государь вынужден совершать в трудных и отчаянных обстоятельствах, противоречащие общему праву и любой форме справедливости, когда интересы частных лиц приносятся в жертву общему благу. Чтобы правильно отличать их от максим поступков, следует прибавить, что в случае максим причины, основания, манифесты, декларации и все, что может легитимировать действие, всегда предшествуют действию и тому, как к нему приступают. Но при *coup d'état* молния сверкает до того, как раздается гром, она поражает прежде, чем вспыхивает пламя, здесь заутреню служат раньше, чем звонят в колокола, исполнение приговора предшествует суду, все происходит

²⁴ Kantorowicz E. Op. cit.

²⁵ Рус. пер: Боден Ж. Метод легкого изучения истории / пер. М. Бобковой. М.: Наука, 2000.

²⁶ Цит. по: Donaldson P. S. Op. cit. P. 114.

à la Judaique²⁷ — удар получает стремившийся его нанести, гибнет полагавший себя в безопасности, страдает наслаждавшийся безмятежностью, все совершается под покровом ночи, во мраке, мгле и темноте, под покровительством Лаверны, богини воров:
 «Дай обмануть мне, о дай же ты правым, святым мне казаться;
 Мраком ночным все грехи, обманы же гучей прикрой ты»²⁸.

Переворот — внезапный разрыв или нарушение естественного социального и политического порядка; следствия опережают причины; все происходит во мраке и неизвестности, обманывая естественные ожидания. В этом смысле понятие *coups d'état*, видимо, любопытным образом предвосхищает в области истории и политики спекуляции философов XVIII века о возвышенном. Достаточно вспомнить, что Кант называл возвышенным то, что превосходит всякое применение категорий рассудка воображением. Сходным образом *coup d'état* превосходит все моральные ожидания; моральный мир, в котором мы живем, низвергается в прах, однако аморальное поведение государя, возможно, служит коллективному благу²⁹. Подобно тому как возвышенное превосходит кажущееся непреодолимым противоречие между страданием и восторгом или наслаждением³⁰, так и *arcana* превосходят противоречие между моральным и аморальным. К этому возвышенному моральному парадоксу нельзя отнестись безучастно, когда Макиавелли заявляет, что государя по праву больше боятся, чем любят, и «мы знаем по опыту, что в наше время великие дела удавались лишь тем, кто не старался сдерживать данное слово»³¹. Благоразумие порой нуждается в без-

²⁷ На иудейский лад (фр.). — Примеч. пер.

²⁸ Naudé G. *Considérations politiques sur les coups d'État / Intro. and notes Françoise Charles-Daubert. 1639* (факсимиле, Hildesheim, Ger., 1993). P. 65–66. Стихотворные строки из Горация («Послания», I. XVI, 60). (Цит. в пер. Н.С. Гинцбурга. — Примеч. пер.)

²⁹ Связь с возвышенным более чем уместна, поскольку Нодэ сравнивает *coup d'état* с такими природными явлениями, как кометы, бури, землетрясения и вулканические извержения, которые обычно воспринимаются как прототипические манифестации возвышенного. См.: Naudé G. *Op. cit.* P. 78.

³⁰ См., напр.: Burke E. *A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and the Beautiful*. Oxford, 1990. P. 121–122.

³¹ Machiavelli N. *The Prince / transl. Q. Skinner. Bungay, 1961. P. 99.* (Рус. пер.: Макиавелли Н. Государь / пер. Г. Муравьевой // Соч. СПб.: Кристалл, 1998. С. 93.)

нравственности, а общественное благополучие иногда достижимо лишь преступным путем; или как пишет Нодэ:

Coups d'état — меч, который можно использовать во благо или во зло, копье Телефа, что может ранить и исцелять, Диана Эфесская, имеющая два лика, печальный и радостный, медалионы, придуманные еретиками, что несут в одних и тех же контурах и линиях образы папы и дьявола, или картины, изображающие жизнь или смерть в зависимости от того, с какой стороны смотреть³².

Подобные чередования добра и зла, внезапные перевороты между высочайшими требованиями этики и религии непозволительны обычным людям. Мы, обычные люди, не способны видеть сразу кролика и утку на рисунке Ястрова–Витгенштейна; только Бог или государь способны постичь и осмыслить возвышенный парадокс «моральности аморального». Неудивительно, что Нодэ связывает *arcana* с топосом описания деятельности государя как *imitatio dei*, «подражания богу»:

Нодэ не смущает, что *imitatio dei* делает государя соучастником божества в парадоксальных и сложных отношениях между добром и злом; напротив, используемые им образы, связанные с таинствами и культовой секретностью, лишь усиливают это впечатление. Государь у Нодэ — священный правитель, использование *arcana* и макиавеллевских методов составляет часть государственной тайны³³.

Если Нодэ все еще видит конфликт между моралью, учением Библии и *coups d'état* государя, Луи Машон (1600 — ок. 1672) делает следующий шаг и представляет изумленным читателям Библию в качестве важнейшего источника по «государственным тайнам»³⁴. В этом он опирается на предшественников, ведь, как отмечали еще Нодэ и Антонио Мирандола (в книге 1630 года о государственном интересе), есть нечто макиавеллевское в решении Бога позволить Христу страдать на кресте ради спасения человечества. Мы видим здесь, кроме того, как разум, уже не дающий притупить себя теологическим спекуляциям, становится восприимчив к возвышенной аморальности Бога³⁵. В традиции

³² Naudé G. Op. cit. P. 76.

³³ Donaldson P.S. Op. cit. P. 174.

³⁴ Конечно, еще Макиавелли обнаружил элементы «макиавеллизма» в Ветхом Завете; см., напр.: «Государь» (гл. XXVI) или «Рассуждение о первой декаде Тита Ливия» (I 4, 9, 26).

³⁵ Об отношении Нодэ к *libertins érudits* («ученым вольнодумцам») с их сомнительными теологическими спекуляциями см. обширное, но

imitatio dei это порой приводило к странному аргументу, что государь, совершая макиавеллевские злодеяния, заслуживает нашего морального одобрения, поскольку он, очевидно, готов пожертвовать собственным спасением ради спасения своего народа. Но Машон заходит намного дальше, обнаруживая в Библии большое количество макиавеллизмов: «обман Моисеем фараона, присвоение израильянами украшений египтян, военные хитрости в Ханаане, утверждение Авраама, что Сара была его сестрой, а не женой; притворство Иосифа, не признавшего своих братьев, обман Иаковом Лавана и Исава и так далее»³⁶. Даже Христа можно обвинить в обмане, поскольку он скрывал божественную природу под человеческим обликом.

Главное здесь то, что государь — у Машона даже сам Бог — вынужден действовать в несовершенном, непредсказуемом и непостижимом мире, отсюда необходимость поступков, противоречащих нравственному идеалу. Будоражающая догадка состоит в том, что нравственный идеал существует и имеет значение лишь в идеальном мире; мораль, так сказать, неизбежно заражена несовершенством мира, в котором применяются ее нормы. В частности, поскольку наше знание о мире несовершенно или, в терминах Макиавелли, поскольку половиной всего происходящего в мире распоряжается богиня Фортуна, правильное, благоразумное или верное, с точки зрения Макиавелли, действие часто представляется нам чужеродным вторжением в понятную и знакомую сферу знания и морали. Отсюда указанный ранее необычайно возвышенный характер *arcana*. Прочитируем избрательную метафору Нодэ:

Отмечу прекрасную аналогию между рекой Нил и государственными тайнами: люди, живущие рядом с мощным водным потоком, получают от него тысячи благ, ничего не зная про его истоки, точно так же люди восхищаются благими последствиями поступков правителя, ничего не понимая в их причинах и основаниях³⁷.

Отсюда также удивительный разрыв, который нередко можно заметить, между великими политическими изменениями и незначительными средствами, которые государь искусно при-

разочаровывающее исследование: *Pintard R. Le Libertinage érudit dans la première moitié du XVII^e siècle*. Paris, 1943. P. 156 ff.

³⁶ *Donaldson P. S. Op. cit. P. 197.*

³⁷ *Naudé G. Op. cit. P. 40.*

менил для их осуществления³⁸. Причины и следствия, похоже, постоянно не ладят между собой в поступках государя.

Следствием этого является также то, что действия государя, как правило, окутаны таинственностью для простого народа, для обычных людей, подданных. Вот почему *arcana* — тайны, и не потому, что они держатся в секрете, но потому, что контекст, в котором государь действует, неизвестен и недоступен обычным людям. Для таких авторов, как Нодэ или Машон, это составляло немалую проблему, ведь они сами были обычными людьми. Еще Макиавелли проявил чуткость к этой проблеме, объясняя в посвящении к «Государю», почему он, простой гражданин, способен сказать нечто, представляющее ценность для государей. Нодэ решает проблему неожиданным образом. Книга, написанная для покровителя Нодэ, кардинала Николая Баньи, была напечатана в типографии всего в двенадцати экземплярах (совпадение с числом апостолов неслучайно). Затем она перепечатывалась в XVII–XVIII столетиях, но даже репринты ограничивались, поэтому даже сегодня эту книгу крайне сложно достать. Несомненно, весьма разумно было сделать так, чтобы книга о сокровенных тайнах государства не попала в руки первого встречного. Подобные вопросы не занимали Макиавелли в «Государе» или в «Рассуждении о первой декаде», хотя эти книги были опубликованы лишь после смерти автора. Вот почему некоторые авторы XVI–XVII веков (например, кардинал Реджинальд Поул) резонно указывали, что Макиавелли был подлинным врагом государей и тиранов, поскольку он стремился раскрыть их ужасные тайны подданным³⁹.

³⁸ *Meinecke F. Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte. 1924 (переизд. München, 1976). S. 237.*

³⁹ Иной способ решения этой проблемы был предложен Лео Штраусом и его последователями. Штраус утверждает, что текст Макиавелли эзотеричен, что отражает тайну самих *arcana imperii*: «Поскольку он друг и отец новых методов и порядков, он по необходимости порой оказывается врагом старых методов и порядков, а вместе с тем и врагом своих читателей, которые ничему бы не научились у него, если бы не были приверженцами старых методов и порядков. Деятельность Макиавелли — это своего рода война. Некоторые вещи, которые он говорит о стратегии и тактике обычной войны, касаются стратегии и тактики того, что можно назвать духовной войной» (*Strauss L. Thoughts on Machiavelli. London, 1958. P. 35*). См. защиту этой позиции против многочисленных оппонентов в работе одного из самых преданных учеников Штрауса: *Mansfield H. C. Machiavelli's Virtue. Chicago, 1996. Ch. 9.*

Поток трактатов об *arcana imperii* неожиданно иссякает около 1660-х годов. Внимание авторов постепенно переключается с поступков государя на общественную жизнь в целом. Представление об этом переходе дает книга Бальтасара Грасиана «Герой» (1637), на макиавеллизм которой часто указывали⁴⁰ и которая действительно читается как коллаж «Государя» Макиавелли и «О придворном» Бальдассаре Кастильоне, как подборка циничных максим Ларошфуко (1665) или мемуары кардинала де Реца (1717). Макиавеллизм, таким образом, переместился из сферы политики в сферу социального взаимодействия, в «представление себя другим в повседневной жизни», если воспользоваться названием известной книги Ирвинга Гофмана⁴¹. В ходе этого путешествия макиавеллизм заражает своим цинизмом концепцию человека, к которой апеллируют современные философии естественного права⁴². Следовательно, большая часть современной философии естественного права основана на макиавеллизме, в иных отношениях существенно отличающемся от нее⁴³.

Сочинение Нодэ «Размышления о государственных переворотях» вызывает не меньший интерес. В конце своей удивительной книги Нодэ перечисляет задачи советника государя (вероятно, имея в виду себя). И тут картина совершенно иная, поскольку от советника требуется соблюдать все традиционные христианские нормы: быть честным и благочестивым, любить Бога и людей и даже желать *plustost le bien que le mal à ses ennemis* («добра, а не зла своим врагам»). Подобная развязка поражает не меньше, чем финал оперы Моцарта «Дон Жуан», где квартет честных граждан с удовлетворением поет об ужасной судьбе живых негодяев, в то время как слушатели еще не успели опом-

⁴⁰ См., напр.: *Gracián B. Obras completas / ed. A. del Hoyo. Madrid, 1967. P. exxxi.*

⁴¹ *Goffman E. The Presentation of Self in Everyday Life. 1959. (Рус. пер.: Гофман Ирвинг. Представление себя другим в повседневной жизни. М., 2000.)*

⁴² В этом философии естественного права Нового времени сильно отличаются от своих современных вариантов, которые, будь то либеральные или коммунитарные, стремятся предложить более оптимистичный взгляд на человека (или возводят такой взгляд в норму).

⁴³ Наиболее весомый вклад голландской политической мысли XVII в. в «натурализацию» макиавеллизма в рамках философии естественного права показан в: *Blom H. Morality and Causality in Politics: The Rise of Naturalism in Dutch Seventeenth-Century Political Thought. Ridderkerk, 1995.*

ниться от возвышенного противостояния Дон Жуана и статуи Командора. Макиавеллевское злодейство и безнравственность, согласно Нодэ, находятся в исключительном ведении государя: даже ближайшим соратникам не дозволяется погружаться во тьму возвышенного царства *arcana imperii*. И поэтому последующие изменения, о которых говорилось в конце предыдущего абзаца, можно воспринимать как «демократизацию» макиавеллизма, к признанию которой Нодэ не был готов.

Но ирония заключается в том, что конец книги Нодэ можно интерпретировать иначе, скорее как финальное *peroratio*⁴⁴, нежели как развязку. Разве соблюдение норм христианской морали не составляет личного макиавеллевского интереса советника? Политическая жизнь советников-макиавеллистов, как можно ожидать, была отчаянно скоротечной. Согласно этой интерпретации, Нодэ был знаком с поразительным сходством макиавеллизма и нравственной безупречности не хуже мыслителей, взгляды которых рассматриваются в следующем разделе. Эта интерпретация кажется тем более убедительной, что Нодэ был вполне способен к объективации этики и к осознанию того, что эгоистические макиавеллевские цели достижимы и при соблюдении норм христианской морали⁴⁵. Ведь одно из дополнительных требований, предъявляемых политическому советнику, гласит, «что он должен жить в мире, как если бы жил вне его; жить под небосводом, как если бы находился над ним»⁴⁶. Это требование помещает советника в возвышенную позицию, «по ту сторону добра и зла», что позволяет ему оценивать потери и приобретения от соблюдения христианской морали. В этом ракурсе удивительная книга Нодэ кажется не только кульминацией макиавеллизма, но и его преодолением.

RAISON D'ÉTAT

Для того чтобы понять причины исчезновения с политической сцены концепции *arcana imperii*, необходимо, во-первых, различать две указанные выше макиавеллевские традиции. Одна из них — сама традиция *arcana imperii*. Вторая, более «спокойная»

⁴⁴ Заключительное слово (лат.). — Примеч. пер.

⁴⁵ Не пройдет и века, как Бернард Мандевиль (в очередной раз) шокирует публику указанием на то, что выполнению обязанностей христианина могут парадоксальным образом послужить себялюбие и эгоизм.

⁴⁶ Naudé G. Op. cit. P. 202.

разновидность макиавеллизма возникает около 1600 года в трудах Джованни Ботеро, Траяно Боккалини, Сципиона Аммирато в Италии, Кристофа Бецоляда, Кристофа фон Форстнера, Иоганна Кесслера и особенно Арнольда Клапмара (по-прежнему использовавшего термин *arcana*) в Германии. Вторую разновидность макиавеллизма ожидало более продолжительное и гораздо более успешное будущее, поскольку ее цель состояла в реализации государственных интересов допустимыми или по крайней мере приемлемыми средствами. Она отрицала то, что Тацит называл *flagitia*⁴⁷, когда ориентиром макиавеллевской политики становились личные интересы государя, подменявшие или затмевавшие собой интересы государства. Лишь в силу государственных интересов, лишь «по государственным соображениям» определенная доля макиавеллизма политику «дозволялась» — вот почему говорят о школе *raison d'état*. Хотя переход от традиции *arcana imperii* к традиции *raison d'état* произошел спокойно (в сравнении с шумом, поднятым сочинениями Макиавелли) и хотя в нем не участвовали великие или известные личности, этот переход имел громадное значение для отношений между историей и политической теорией. В итоге произошла, так сказать, десублимация *arcana imperii*; как мы убедимся, именно этот переход заложил фундамент для интеграции истории и философии естественного права.

Образцовый пример — Герман Конринг (1606–1681), который был увлечен системой Гоббса, представил ее в Германии и постарался согласовать ее с требованиями *raison d'état*. Основой для примирения было утверждение, что «праведное» (*iustum*) с точки зрения философии естественного права не обязательно противоречит тому, что является «достойным» (*honestum*) с точки зрения *raison d'état*. Система Гоббса помогла Конрингу осуществить свой замысел, та как (макиавеллевским) основанием гоббсианской аргументации было стремление человека к самосохранению. Конринг указал, что мы наиболее успешно достигаем цели самосохранения, придерживаясь предсказуемой и морально ответственной линии поведения. Вот почему в наших эгоистичных макиавеллевских интересах выгодно не совершать *flagitia* и воздерживаться от радикальных и контрпродуктивных советов Макиавелли. То же верно и для государства: государство,

⁴⁷ Позорные поступки (лат.). — Примеч. пер.

соблюдающее требование *pacta sunt servanda*⁴⁸ и не спешащее навредить соседям при первом удобном случае, имеет больше шансов на выживание в гоббсианской войне европейских государств (*bellum omnium contra omnes*), чем государство, действующее подобно бандиту с большой дороги. В итоге большую часть пути по реализации политического действия приверженец философии естественного права и адепт доктрины *raison d'état* проходят рука об руку. Тем не менее в некоторых пунктах их пути расходятся. Конринг прекрасно понимает это и пытается установить момент, когда *raison d'état* граничит с *flagitia*. В определенной мере его исследование было успешно, можно согласиться со Штоллейсом:

Конринг установил классические пределы доктрины *raison d'état*. Это еще одно подтверждение того, что для Конринга *raison d'état* — нормативное понятие, удовлетворяющее требованиям этики и философии естественного права. Пределы необходимы, чтобы лишить государя искушения злоупотребить доктриной *raison d'état* — *ultimam subditorum finem* (высшая цель государственных подданных) и *salutem et egregium publicum* (общественное благополучие) — для оправдания несправедливости и обмана⁴⁹.

Тем не менее сомнительно, что Конрингу действительно удалось установить пределы *raison d'état*. В своем анализе он намеренно ограничился областью, где моральные нормы и государственные интересы все еще существуют в гармонии друг с другом, и тщательно обходил стороной область, где они вступают в конфликт. Но именно здесь проявляются настоящие трудности.

Вместе с *raison d'état* в немецкую философию естественного права проникает история. По мнению Конринга (в этом он верный последователь Макиавелли), история — лучший советчик политика в познании того, как лучше всего послужить своей стране в согласии с требованиями *raison d'état*. Политику нужно лишь сравнить свою ситуацию с ситуациями политиков прошлого; сравнение помогает выбрать собственную линию поведения. История — компендиум опыта прошлого, который необходимо освоить политику, чтобы усовершенствовать свое понимание политической теории и практики⁵⁰. «Est enim ilia historia reapse quasi civilis ipsa philosophia sed

⁴⁸ Договоры должны соблюдаться (*лат.*). — *Примеч. пер.*

⁴⁹ *Stolleis M. Machiavellismus und Staatsräson // Hennann Conring (1606–1681): Beiträge zu Leben und Werk / ed. M. Stolleis. Berlin, 1983. S. 181.*

⁵⁰ *Hammerstein N. Die Historie bei Conring // Hennann Conring / ed. M. Stolleis. S. 223.*

in exemplis»⁵¹ — история есть философия государства, но только в форме примеров. Отметим предвосхищение гегелевского слияния философии и истории, причем Гегель, говоривший о «хитрости разума», с не меньшим оптимизмом, чем Конринг, относился к возможности избежать конфликта *raison d'état* и *flagitia*.

Конринг прославился как «основатель немецкой истории права», «отец статистики или описаний государства» и «учитель доктрины *raison d'état*»⁵². Эти эпитеты указывают на три области, в которых этот немецкий философ естественного права принес пользу исторической науке. Во-первых, Конринг сделал для изучения немецкой истории права больше, чем кто-либо из его современников; студенты, посещавшие его курсы и собиравшиеся впоследствии выступить на общественном поприще, были обязаны в совершенстве знать немецкие институты и их юридическую историю. Не менее важна его репутация как отца статистики. Статистика явилась той дисциплиной, где история и политика встретились в XVIII веке; тогда же статистикой занимаются Готфрид Ахенваль, Август Людвиг фон Шлецер и даже сам Фридрих II на основе достижений своих предшественников: Кристиана Томазия и в особенности Конринга. Со словом «статистика» (statistics) у нас ассоциируются таблицы и цифры, но на самом деле этот термин был произведен от слова *state* в значении «государство» (как, например, в понятии *raison d'état*⁵³). Статистика — когнитивный аппарат, обслуживающий политику *raison d'état*. Для Ахенваля и Шлецера статистика была скрупулезным, нередко даже количественным описанием государства, информацией о его конституционной и юридической организации, о его богатстве, религиозных предпочтениях населения, ремеслах и производстве, о точном размере страны, географических условиях и так далее. В традиции *raison d'état* лишь на основе таких данных политик способен быть подлинным макиавеллистом. Статистическое знание было историческим в тех двух смыслах слова «история», в которых оно употреблялось до XIX столетия: оно было историческим, поскольку давало точное описание отдельного сложного факта (Зейферт), но оно было историческим и в традиционном смысле, когда к истории обращаются для получения и корректной интерпретации релевантных данных.

⁵¹ Ibid. S. 221.

⁵² Ibid. S. 219.

⁵³ *Deursen A. van. Geschiedenis en toekomstverwachting. Kampen, 1971. P. 9.*

В силу этого статистика занимала промежуточную позицию между историей и политикой. По выражению Ахенваля, «статистика — остановленная история, а история — это непрерывно движущаяся статистика»⁵⁴. В итоге статистика имеет важнейшее значение для политики, поскольку ее результаты используются в политических целях, то есть для определения того, как содействовать интересам государства при необходимости или приоритетно за счет других наций. *Raison d'état* требует от политика и государя добиваться преимуществ перед соперниками и другими государствами с помощью средств, которые не являются контрпродуктивными; а этого приходится опасаться, если применять на практике не самые щепетильные методы Макиавелли. Так в политической философии XVII–XVIII веков был перекинут мост между естественным правом и макиавеллизмом: естественное право определяло, каких моральных и политических правил следует придерживаться в отношениях с другими, поскольку нет рационального смысла рисковать, вызывая недоброжелательство; а история учила, при каких обстоятельствах политик все-таки должен был рисковать. Естественное право и история, таким образом, уравнивали друг друга: одно все-гда следовало рассматривать в качестве контекста для верного использования другого. Естественное право сдерживало контрпродуктивное применение уроков Макиавелли, а знание об истории государства, его сущности и политико-экономических интересах показывало политику, когда применение философии естественного права вредит общему благу. Так мышление *raison d'état* пыталось примирить доктрину естественного права с уроками истории.

Но более важным в данном контексте является предположение, высказанное Фридрихом Мейнеке в его внушительном труде «*Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte*» (1924) («Идея государственного интереса в истории раннего Нового времени»), о роли традиции *raison d'état* в возникновении историзма и, следовательно, историографии Нового времени. Эти две концепции связаны между собой осознанным отношением к специфической природе государства, нации и институции. По-

⁵⁴ *Deursen A. van. Geschiedenis en toekomstverwachting. См. также: Seifert A. Staatenkunde: Eine neue Disziplin und ihr wissenschaftstheoretischer Ort // Statistik und Staatsbeschreibung in der Neuzeit / Hrsg. N. Rassem, J. Stagl. Paderborn, 1980.*

литическое действие, диктуемое государственным интересом, требовало от политика признания исторических и статистических фактов, в контексте которых ему приходится действовать. На сходном аргументе основывается и требование историциста интерпретировать поступки исторических деятелей с учетом исторических реальностей. «Не свободный выбор, но фактическая необходимость управляла развитием государств» — в этих словах Ранке слышится призыв Макиавелли действовать в согласии с необходимостью⁵⁵. Макиавеллевское учение о том, что объективные исторические обстоятельства вынуждают политика действовать определенным образом, лежит в основе как рассуждений в стиле *raison d'état*, так и историзма. Мейнеке приводит несколько примеров того, как в сочинениях Ранке это выразилось в макиавеллевском понимании прошлого. Мейнеке замечает, что Ранке стремился сгладить многочисленные случаи нарушения договоров, имевшие место в прошлом, посредством «гибкой диалектики», которая пусть и не полностью игнорировала личную моральную ответственность исторических деятелей, но отводила ведущую роль стечению обстоятельств и политике силового давления — то есть философии *raison d'état*, оправдывающей нарушение договоров⁵⁶.

Вероятно, Ранке догадывался о близости своей позиции к макиавеллизму. Прежде всего вспоминается инаугурационная речь 1836 года, в которой Ранке утверждал, что «задача Истории состоит в раскрытии сущности государства на основе событий прошлого; задача политики состоит в дальнейшем развитии достигнутого при этом интеллектуального просветления»⁵⁷. Как и Макиавелли, Ранке полагает, что историческая необходимость — наиболее надежный ориентир для политика. Кроме того, интересен странный уклончивый отзыв о Макиавелли, написанный Ранке под конец своей долгой карьеры историка, где пылкое отрицание макиавеллевского лицемерия сочетается с оправданием его в свете трудностей, препятствовавших объединению Италии. Ранке испытывал глубокое уважение к

⁵⁵ Цит. по: *Meinecke F. Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte. S. 455.*

⁵⁶ *Ibid. S. 453.*

⁵⁷ *Ranke L. von. Sämmtliche Werke. In 54 Bd. Bd. 24. Abhandlungen und Versuche. Leipzig, 1872. S. 288–289.*

житейской пронизательности Макиавелли и пытался смягчить его вызывающие заявления, подчеркивая, насколько Макиавелли по сути оставался близок к такому общепризнанному философу, как Аристотель⁵⁸. Все проблемы и вопросы, связанные с релятивизмом, свойственным историческому сочинению, уже различимы в этом любопытном образце самодеконструкции.

Я начал эту главу с аргумента Штрауса о несовместимости доктрины естественного права и истории; надеюсь, вышесказанное прояснило, почему этот традиционный взгляд неверен. С исторической точки зрения следует признать, что такого противопоставления никогда не существовало в реальности. Философия естественного права, несмотря на весь ее априоризм, никогда не оставалась безразличной к требованиям истории. Некоторые теоретики особенно в XVII веке действительно стремились рассуждать *more geometrico*⁵⁹ и обходить стороной превратности истории — я упомянул в этой связи Гроция, — но в итоге их аргументация всегда оказывалась весьма восприимчивой к историческим соображениям. Чем ближе к XIX веку, тем более историчной становится натуральная философия. Вспомним Конринга, «Басню о пчелах» Бернарда де Мандевиля и десакрализацию философии естественного права, произведенную историей XVIII столетия, кульминацией чего явилось шотландское Просвещение. В итоге философию естественного права XVII–XVIII веков можно считать наиболее интересным экспериментом по исключению истории из политической мысли. Но этот эксперимент по созданию чистой внеисторической философии провалился: как и в современной политической философии, историческая реальность отказалась скрываться за «занавесом неведения»⁶⁰ Ролза.

Второй, более важный результат: когда история с заднего хода проникла в политическую философию, она сделала это под маской макиавеллизма. В момент своего возникновения историческое сознание не было каким-то нейтральным, безвредным или нравоучительным; напротив, это была история в наиболее опасной и аморальной форме. История заявила о себе там, где она

⁵⁸ Ranke L. von. Anhang über Machiavell // Sämmtliche Werke. In 54 Bd. Bd. 34. Leipzig, 1874. S. 151–174.

⁵⁹ Геометрическим способом (лат.). — Примеч. пер.

⁶⁰ См.: Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск, 1995. С. 26, 32. — Примеч. пер.

вредит сильнее всего, — конвенциональное противопоставление естественного права и истории у неокантианцев и штрауссианцев по-прежнему напоминает нам об этом шоковом эффекте.

Третье: макиавеллизм заявляет о себе как в жестком, так и в мягком варианте. Жесткий вариант был представлен традицией *arcana imperii*, потерявшей свою притягательность ко второй половине XVII века и перешедшей из публичной сферы в частную. Поскольку секретность была ее отличительной чертой, как аспект частной жизни она закономерно исчезает, ведь частные секреты не имеют длительного воздействия на публичную сферу. Мягкий вариант макиавеллизма оказался настоящим благодеянием, так как он дал нам все разновидности социально-политических дисциплин, аккумулирующих знание, которое можно использовать на общее благо и которое может способствовать достижению общественного благополучия.

Но, как показал Мейнеке, этот вариант дал нам также «истористскую» историографию Нового времени. Я без колебания отдаю истории определенный приоритет в сравнении с вышеупомянутыми социально-политическими дисциплинами. История отличается от них широкой доступностью. Урок, который можно извлечь из сюжета с двумя вариантами макиавеллизма, состоит в том, что секретность — великое зло в той области знания, которая выполняет общественную функцию. Некоторые из этих социально-политических дисциплин, несомненно, более тяготеют к абстрактности, замкнутости и секретности, чем история. Общественные дебаты по большей части — это обсуждение того, что хорошо и что плохо для демократического общества. Поскольку история несовместима с секретностью, она предлагает лучшую платформу для подобной дискуссии, чем другие дисциплины. Но история никогда не гарантирует достоверности; история обеспечивает нас всего лишь мнениями, *doxai*, «вероятными» в аристотелевском смысле. Достоверность здесь достигается только ценой отказа от публичности в пользу секретности, то есть отказа от «хорошего» макиавеллизма в пользу «плохого». Парадокс в том, что «хороший» макиавеллизм предполагает открытое допущение зла в определенных рамках: ведь если мы упрямо стремимся изгнать все зло из нашего мира, неизбежным результатом будет величайшее зло. Таким образом, в некоторой степени возвышенность *arcana imperii* всегда остается с нами.

Научное издание

Серия «Политическая теория»

ФРАНКЛИН РУДОЛЬФ АНКЕРСМИТ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ

Главный редактор

ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ

Заведующая книжной редакцией

ЕЛЕНА БЕРЕЖНОВА

Художник

ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ

Верстка

НАТАЛЬЯ ПУЗАНОВА

Корректор

ЕЛЕНА МАКЕЕВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

101000, Москва, ул. Мясницкая, 20

Тел./факс: (495) 611-15-52

Подписано в печать 15.05.2012. Формат 60×90/16

Гарнитура Minion Pro. Усл. печ. л. 18,0. Уч.-изд. л. 15,6

Печать офсетная. Тираж 1000 экз.

Изд. № 1273. Заказ №

Отпечатано в ГУП ППП «Типография «Наука»»

121099, Москва, Шубинский пер., 6

ISBN 978-5-7598-0826-8



9 785759 808268